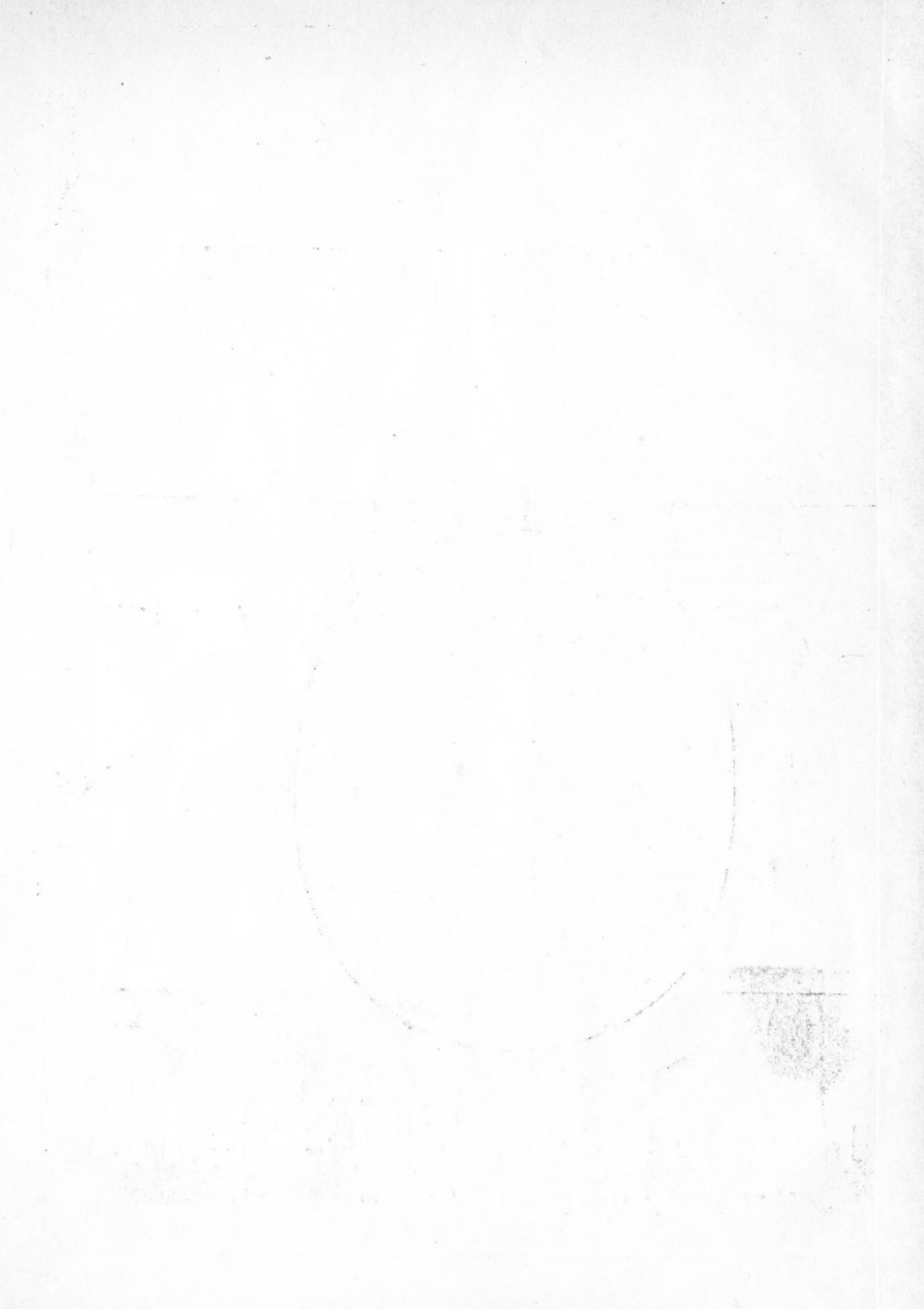
Е. Д. СУББОТИНА

# НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ПУТИ



ИЗД—ВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
МОСКВА



ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

1928 г. № 11

Е. Д. СУББОТИНА

# НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ПУТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва—1928

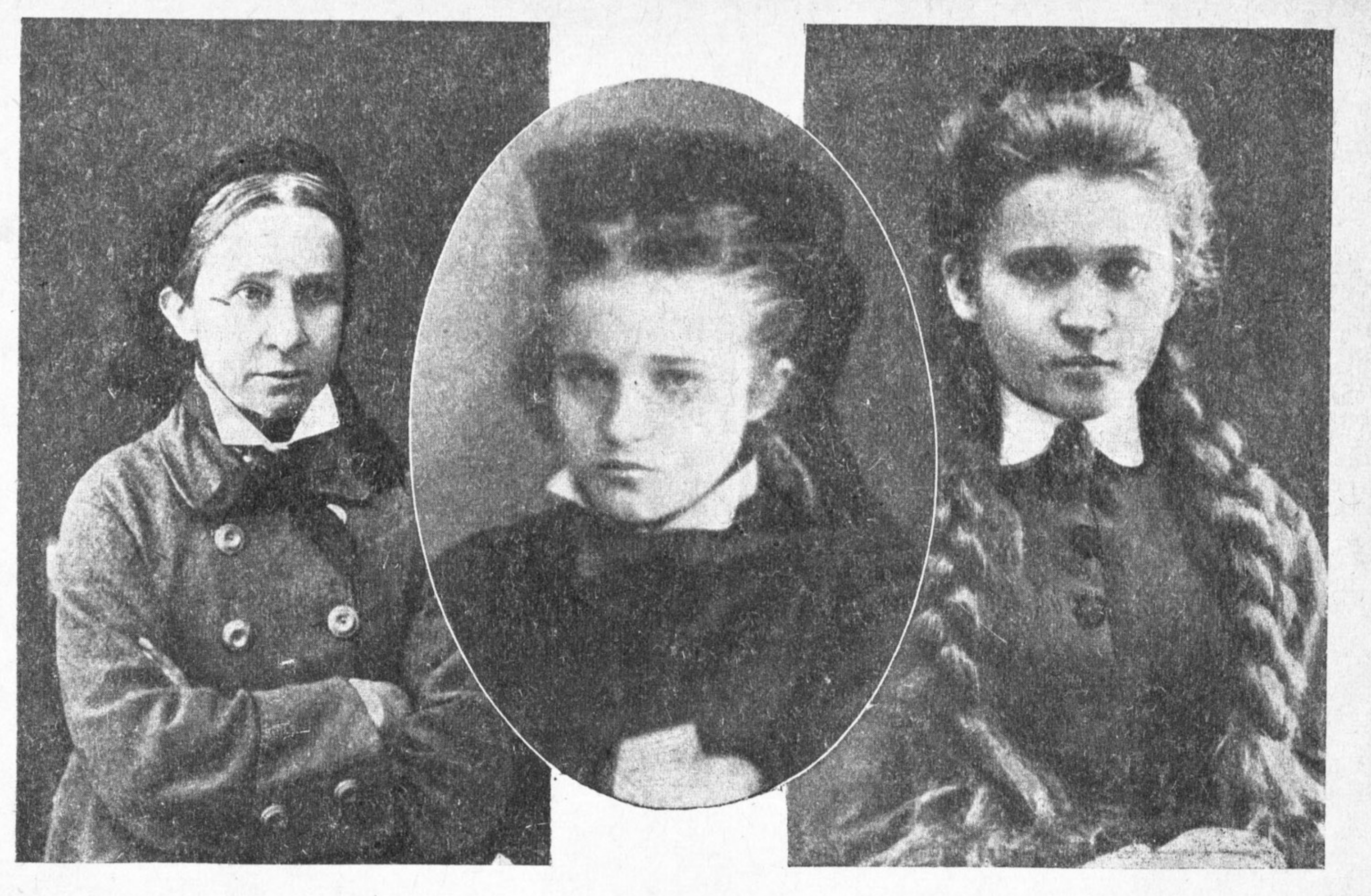



ГЛАВЛИТ А-11056
ТИРАЖ 7000 экз.

Зак. 871







Софья Александровна Надежда Дмитриевна Мария Дмитриевна

**СУББОТИНЫ**

Портрет Евгении Дмитриевны Субботиной помещен на обложке.

Из собрания Музея каторги и ссылки

Мать моя, Софья Александровна Субботина, родилась в 1830 г. Ее отец, Александр Алексеевич Иовский, был профессором Московского университета, медицинского факультета и в то же время помещиком Ливенского уезда Орловской губернии; мать ее, Чагина, потомок татарских князей Чага, была владетельницей громадного имения в Ливенском уезде, великолепной крупчатной мельницы и большого количества бриллиантов и золота; но так как имение было неразделено с единственным ее братом, блестящим гусаром, кутилою и карточным игроком, то он часть имущества проиграл в карты и прокутил, а часть пошла на покрытие векселей, которые он подписывал в пьяном виде. На процесс о признании этих векселей «дутыми» ушла часть состояния и спокойствие всей семьи. Этот процесс заставил деда покинуть Москву, замкнуться в деревне и он же свел его в могилу; а продолжение процесса досталось в наследие моей матери.

До 3-х лет мать моя оставалась на попечении нянек, пока дед не женился вторично на Елизавете Ивановне Гусевой, 16-летней девушке, необычайно кроткой и доброй. Когда моя мать подросла, она в своей мачихе нашла самого искреннего и луч-

шего друга (Ел. Ив. была на 13 лет старше моей матери). Образование мать получила домашнее. Была приглашена институтка с знанием французского языка, немецкого и музыки. Так как у матери были способности к рисованию, то для нее был приглашен учитель рисования.

Жизнь моей матери и Елизаветы Ивановны была незавидная. Незаменимый собеседник в обществе, остроумный, очень образованный (он знал 6 иностранных языков и много путешествовал за границей) дед в семье был деспотом, а вынужденное гнусным процессом уединение, еще более ухудшило его характер. У Елизаветы Ивановны родились две девочки; старшие умерли, остались две — Елизавета и Людмила. Дедушка ждал все сына, которому он мечтал передать свои знания, и когда, наконец, родившийся мальчик оказался мертвым, то он чуть не убил бедную Елизавету Ивановну. Мать мою он любил до обожания, но и она должна была ходить по струнке. Образование она получила для света: языки, музыка, рисование. Научные знания давались поверхностные. С ее умом, мать не могла удовольствоваться этим. Она похищала у отца книги, интересовавшие ее, запиралась ночью в гардероб и там со свечой читала, а ее друг, горничная Маша, караулила и предупреждала о приближении деда во время ночного обхода. Хотя дед удалял мою мать от серьезного чтения, но в то же время она должна была исполнять должность его секретаря: заложив руки за спину, ходя по комнате, он диктовал ей свои письма. Переписка была у него обширная, с различными учеными и выдающимися людьми. Иногда ему приходила в голову такая фантазия: он приказывал матери затянуться в корсет, одеть бархатное платье, сделать прическу и идти гулять в сад (конечно, летом); сам же садился на балкон и любовался ею. При

таких условиях падчерица и мачиха сделались близкими друзьями и изливали друг другу свою душу.

Так в затворе, без общества, мать прожила до 22-х лет. В это время явился мой отец, сосед-помещик Елецкого уезда, в 15-ти верстах от имения деда. Отец мой, Дмитрий Павлович Субботин,— кандидат юридических наук Харьковского университета и штабс-капитан в запасе уланского кавалерийского полка. Он сделал, предложение деду. Дед дал согласие и мать моя стала невестой, а потом женою моего отца.

Отец мой, по счастью, оказался не только человеком интеллигентным, но и необыкновенно добрым и честным. Но и с замужеством опека деда над моею матерью не кончилась. Сначала мой отец уступал ему, но, наконец, мера терпения его кончилась и, когда дед потребовал, чтобы они переехали из своего имения и поселились в одном доме с ним, отец наотрез отказался. Начались неприятности, от которых мать очень страдала. Отец мой, будучи послан дедом по делам процесса в город во время половодья, попал в полынью, простудился, недолго хворал и умер. Он прожил с матерью 6 лет и оставил ее 28-летней вдовой с 3-мя девочками, ужасным процессом и хозяйкой большого имения. Незадолго до смерти отца, умер и дед. Елизавета Ивановна осталась с 2-мя девочками, беспомощной, неопытной, преждевременно состарившейся: гнет семейной жизни сделал ее к 45-ти годам совершенной старухой.

Мать моя очень любила своего мужа, так же, как и он ее, и смерть его была для нее страшным ударом; но обладая недюжинным умом и громадной энергией, она не опустила рук и судьба благоприятствовала ей. Ей порекомендовали в управляющие имением малоросса Глуховского уезда

из дворян, человека честного и хорошего хозяина, П. П. Снежкова. Он поселился у нас в нижнем этаже при конторе. К детям мать пригласила молодую девушку, немку из Прибалтийской губернии, Анну Ивановну Динтер. Она оказалась девушкой умной, честной, но мало развитой. Русского языка она совсем не знала. Занимаясь своим развитием, мать развивала и Анну Ивановну, которая стала не только помощницей матери при воспитании детей, но и членом семьи. Матери пришлось заботиться и о своей семье и устраивать Елизавету Ивановну с ее дочерьми.

Еще при жизни моего отца, положение крестьян было улучшено. Хорошие отношения с крестьянами продолжала и мать. Она, как опекунша, не только сохраняла имение, но и вводила всякие улучшения: рубка большого строевого леса велась участками, сад в 12 десятин с столетними еловыми аллеями, великолепными беседками, розовыми аллеями и т. д. и хорошими фруктами и ягодами, держался в образцовом порядке (помещики приезжали гулять в сад); из одной пасеки, которой заведывал старик времен Екатерины, она сделала две. Во всем хозяйстве были стройность и порядок. Но процесс, требовавший громадных издержек, давал себя чувствовать. Мать ввела строгую экономию: жили мы очень скромно, одевались тоже просто; кроме ситцевых платьев, даже и в праздники, мы не видали других, и новое ситцевое платье доставляло нам большое удовольствие. Мать выписав швейную ножную машину, научилась шить и сама обшивала всю семью. Но несмотря на экономию, матери приходилось переживать очень тяжелые времена.

Сознание глубины крестьянского горя вызывало в моей матери живейшее желание помогать этим несчастным: никто никогда не уходил от нее без

помощи лесом, хлебом и т. п. Она научилась лечить, думаю я, по книгам, которые остались после ее отца, моего деда, — а может и еще от кого, но факт тот, что она стала лечить, и лечила замечательно удачно. Например, она вылечивала мазью, которую сама делала, раны, от которых отказывались доктора: одному мужику доктор хотел отнять ногу, ибо рана была неизлечима, а мать вылечила. По праздникам около дома у нас был целый табор. Мать только требовала с крестьян, чтобы в мае месяце они приносили ей нужные травы, что охотно исполняли все окрестные крестьяне, и весь громадный наш чердак был увешан сушившимися травами. С нашим священником матери тоже приходилось иметь частые столкновения. И как только крестьяне приходили с жалобой на священника, мать писала ему, что если он будет притеснять крестьян, она будет жаловаться архиерею. Раз как-то летом сделался пожар в доме священника. Ударили в набат. Первыми явились наша пожарная машина, и бочки с водой и дворовая прислуга, которая стала спасать добро священника и вытащила беременную матушку, которая лежала в обмороке. Пришли крестьяне и давай швырять в огонь холсты: «откуда взято, туда и пошло», говорили они. Матери с трудом удалось остановить крестьян.

Помню такую сцену: мать сидит вечером одна в столовой; является священник и начинает просить ее, чтобы она обошла с ним гумно, чтобы убедиться, все ли благополучно. Мать возразила, что уж поздно, темно, он, мужчина, и обращается к ней, женщине. Вдруг он падает перед нею на колени и говорит: «я — подлец, а вас никто не тронет!». Мать, конечно, пошла.

Пришел незабвенный 1861 год. Везде ликование. Мать об'являет своим крестьянам, что они теперь

свободные, вольные люди. Они отвечают, что им воля не нужна и что им хорошо живется. Приехал мировой посредник. Помню летний день (мне было тогда около 8 лет), я смотрю в окно второго этажа. На крыльце посредник, а на дворе толпа крестьян. Долго пришлось ему убеждать их в том, что они не могут оставаться барскими, а мать не может быть их владетельницей.

Доказательством того, насколько крестьяне любили мою мать, может быть то, что когда в 70-х г.г. ее арестовали, как политическую преступницу, в Курском имении, где мать жила очень короткое время, Подворгольские крестьяне Орловской губернии хотели послать к царю депутацию с протестом против ее ареста и с просьбою об ее освобождении. Сестре Марии едва удалось убедить их, что матери они не только не помогут, а даже, может быть, ухудшат ее положение, себе же, безусловно, повредят. Когда, после нашего возвращения из Сибири, моя взрослая дочь ехала со станции с крестьянами Подворгольской деревни к тетке, имение которой было в 15 верстах от Подворгольского, то крестьянин сказал: «Тетка ваша зла никому не делала, но и добра от нее не видали, но бабушку вашу, Софью Александровну, мы никогда не забудем и детям велим за нее бога молить».

На образование протестующего духа матери повлияло, с одной стороны, окружавшее бесправие, с которым не могла примириться ее благородная душа, а с другой — чтение. Она прочла всех энциклопедистов — Вольтера, Руссо, «Дух законов» Монтескье и т. д., выписывала и читала «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы», изучала Милля с примечаниями Чернышевского. Это была недюжинная натура по уму, энергии и душевной чистоте. Общественного мнения

она не боялась, и поступала так, как приказывали ей ее совесть и убеждения.

Вскоре после смерти отца, может, через год, умерла жена мелкопоместного дворянина Шатилова, жившего в версте от дома дедушки. Двух старших девочек взяли на воспитание помещики, мальчика отец оставил себе, а самую младшую трехлетнюю девочку, хилую, болезненную и слабую взяла мать. Она сама таскала ее, ибо девочка вследствие слабости все сидела, сама мыла ее, не доверяя прислуге, которая могла обижать ее, как бедную сироту. Потом эта девочка стала Верой Андреевной Шатиловой, фигурировавшей в процессе 193-х с моею матерью; и прокурор поставил одним из пунктов обвинения против моей матери: «Субботина не только погубила своих дочерей, но она не пожалела даже своей воспитанницы».

Нас стало четыре девочки и все погодки. Когда наступила пора учить нас, мать с Анной Ивановной разделили труд: Анна Ивановна занималась немецким языком и под руководством матери всеобщей историей на немецком языке, а мать русским языком, географией, законом божиим, арифметикой, французским языком и музыкой. Нас разделили на две группы: я и Мария, Надежда и Вера.

Историю мы проходили по Веберу, читали греческие мифы. Я увлекалась мифами, подвигами греческих героев и еще более героями римской истории (Муций Сцевола, Гракхи). Гонения христиан тоже оставили во мне неизгладимое впечатление. Мы никогда не лгали, даже если за свою вину должны были нести наказание. Раз я, шаля, разбила дорогую вазу. Я подошла к постели матери, стала на колени, и, горько рыдая, рассказала о своем проступке и просила прощения; хотя мать и простила меня, но я до сих пор помню эту вазу.

Воспитание мы получили не изнеженное. Спали сначала на сенниках, потом хотя и на сафьяновых, но таких жестких матрацах, что это почти что были доски. Пища была простая, но сытная: дети пили утром горячее молоко с черным хлебом. Распределение времени занятий и отдыха было строгое, немецкое. В свободное время мы занимались всяким спортом; летом — купанье в пруду, в саду гигантские шаги, при чем мы не только бегали, но и лазили по веревкам до самого креста и по деревьям, по столетним елям, мы карабкались с необыкновенной быстротой и ловкостью. Сначала мы ездили верхом на простых лошадях, положив на спину лошади подушку и веревочное стремя, потом, когда мне было лет 16, мать дала мне и Мане хороших лошадей. Зимой катались на салазках с горы, устроенной на пруду, или при помощи колеса, укрепленного среди пруда, разгоняли санки; ездили на лыжах и величайшим было для нас удовольствием, когда нам разрешали идти на лыжах с управляющим в лес и поле в лунный вечер; деревья все покрыты инеем — какая волшебная красота! Любовь к природе осталась у нас навсегда. Живя в такой среде, где все любили мою мать и, следовательно, нечего было опасаться каких-либо злодеяний, мы не знали чувства страха и это выработало в нас смелость. Мы боялись только волков и бешеных собак. Кроме воспитания, мне кажется, в образовании характера и склонностей сказалась наша татарская кровь, и это наследие отразилось даже и в наших детях: никто не страдает трусливостью и у всех страсть к лошадям — мы малютками ходили под брюхом у конюшенных лошадей, малютками сидели на лошади. А мать моя— как она отчаянно ездила верхом! Дочь моя, Софья, наследовала даже наружность Чагиных.

Мне было 14 лет, когда я поступила в четвертый класс Московской гимназии, Мария — в 5-й, Надя и Вера — в 6-й. Какою тюрьмою показалась мне Москва после деревни! На лето, месяца на 2½, мы уезжали в деревню с теткою Людмилой, которая стала с нами жить после смерти своей матери, Елизаветы Ивановны, а мать уезжала в деревню ранней весной. Скоро и жизнь наша в деревне переменилась. Прежде с'езд гостей бывал у нас лишь один раз в год, на рождество. Теперь во время наших каникул к нам не только часто стала ездить молодежь, но приезжали и из Москвы гостить, а 22-го июля, — именины Марии, — с'ежались все знакомые и бывало очень весело. В 18 лет я кончила гимназию.

Гимназия, в которой мы учились, ведомства императрицы Марии Федоровны, была очень консервативная. Классные дамы были все институтки, начальница — бывшая фрейлина при дворе; французский язык был обязателен при разговоре, но и курс наук был довольно обширный и почти равнялся мужской гимназии. Эта-то обширная программа и побудила мать предпочесть эту гимназию другим. Сама она, испытав на себе всю горечь недостатка образования, изводила нас изучением обширной географии Данилевского; ни для гимназии, ни для жизни эти знания не пригодились

Дисциплина в нашей гимназии была очень строгая. Неповиновене каралось скверной отметкой за поведение, вольнодумство—исключением. В классе Надежды одна ученица спросила батюшку, почему из православия нельзя переходить в католичество и протестанство, а обратно можно.

— «Потому, что наша вера правая», — последовал ответ.

— «Но и они считают свою веру правой», — возразила ученица.

— «А, ты вольнодумствовать хочешь!» — заключил батюшка.

На следующий день Совет ее исключил, а с сестрой ее, которая училась с ней в одном классе,— запрещено было ходить кому бы то ни было во время перемен. Сестра моя Надя демонстративно стала ходить с этой ученицей и пригласила ее к нам в дом. Но ей прошло все это благополучно.

Совсем в другом духе был наш учитель русского языка — Алябьев. В первый год моего поступления, в класс принесла одна ученица «Что делать?» Чернышевского. Более либеральные ученицы прочли. В это же время учитель задал нам сочинение о положении русской женщины по Домострою; вот мы и вплели туда и Веру Павл. и артели. Через несколько времени, довольные своим подвигом, мы спрашивали учителя, когда он возвратит наши сочинения; он улыбнулся и сказал, что потерял их. За такое «вольнодумство» нас бы всех исключили и я всегда с благодарностью вспоминаю об этом учителе. Меня эта дисциплина научила ловкости и осторожности, а на кроткую и впечатлительную Маню она действовала угнетающе.

У меня были две подруги — Топоркова и Ансерова, обе очень серьезные, а Ансерова замечательный математик, — проф. Преображенский говорил, что во всем университете нет студента, который бы стоил ее мизинца по способностям.

В последний год моего ученья нас с матерью занимал вопрос, как помочь крестьянству. Раздача земли бесполезна, ибо земля опять сконцентрируется в руках более сильных, а более слабые останутся опять бедовать.

В это время появляется статья Цебриковой о русских студентках в Цюрихе. Матери передают, что учитель русского языка называет меня будущей Сусловой, один из более интелигентных сту-

дентов, Посников, рассказывает нам о заграничных университетах, о женщинах, которые там учатся. Под влиянием всего этого у нас с матерью является решение мучивших нас вопросов. Я приглашаю, с согласия матери, своих соучениц, Топоркову и Ансерову, ехать в компании. Топоркова соглашается, Ансерова поехала бы, но отец, священник—реакционер, и слышать не хочет об этой поездке. Тогда мы решаем выкрасть ее при помощи студентов и отправить за границу. Посников собрал все необходимые сведения для нашей поездки в Цюрих и, по окончании экзамена, я, Топоркова и Маня уезжаем, а Ансерову решено отправить потом. Она, действительно, ушла из дому, ее спрятали и уже хотели отправить, но, когда ей рассказали, в каком ужасном горе ее родители и о словах отца, что он не переживет этого удара, она возвратилась и попала, как в заключение, под надзор всей семьи. Я очень жалела, что пропал такой выдающийся талант, — в гимназии называли ее «звездой гимназии». В то время, когда мы проходили гимназический курс, Ансерова с проф. Преображенским проходила дифференциалы и интегралы. Впоследствии, на процессе 50-ти, по которому мы с сестрами судились, отец Ансеровой был свидетелем и благодарил правительство, что оно избавляет общество от таких, как Субботина.

Когда, мы приехали в Цюрих, Маня и А. Топоркова поступили на медиц. факультет, я — на естественный. Вскоре мы познакомились с П. Л. Лавровым и с русскими студентками: Александровой, Бардиной, сестрами Любатович, Л. Фигнер, ее сестрой В. Н. Фигнер и др. Петр Лаврович Лавров, несмотря на свою ученость, относился к нам очень дружески, и мы шли к нему со всякими вопросами. Студентки образовали женский кружок для саморазвития, в который не допускались мужчины, так

как, по мнению студенток, даже самый глупый мужчина стремится взять верх над женщинами. Мы занялись, главным образом, изучением экономических, социальных, а также революционных вопросов. Многие из наших работали в типографии журнала «Вперед», издаваемого Лавровым. В Цюрихе была еще группа бакунистов. Между лавристами и бакунистами был сильный антагонизм. Учащаяся молодежь тоже разделилась на группы.

Вскоре нашим правительством было запрещено русским студентам обучаться в Цюрихском университете. Сестра Мария, Бардина, и Александрова переехали в Париж и продолжали свое медицинское образование, а я в 1873 г. уехала в Женеву, где занялась чтением и изучением социальных и экономических наук. В том же году нам пришлось вернуться в Москву, где наш женский кружок соединяется с политическим кружком кавказцев и вырабатывает программу.

Через год после нашего от'езда в Цюрих туда приехала моя мать с сестрой Надеждой. Мать вошла в гущу нашей жизни и во все наши интересы; наше социалистическое настроение было близко ей по духу. Она живо интересовалась нашими занятиями, посещала наш кружок, ходила на собрания Интернационала.

Дело борьбы за лучшее будущее, дело борьбы за угнетенных до того было близко всему складу мыслей и убеждений моей матери, что мы нашли в ней человека, горячо сочувствующего нашему направлению и готового помогать революционному движению. В Цюрихе же мать часто говорила нам: «Вы, молодежь, ведите революционное дело, а я буду стараться вам средства приобретать». Ее слова не разошлись с делом: она прекрасно вела хозяйство в двух больших имениях, соблюдая

в личной жизни строгую простоту и экономию, и отдавая все средства на дело революции.

Вернувшись в Россию, мать, по рекомендации Таксиса, пригласила в Подворгольскую школу Батюшкову, а в Курское имение Завадскую, которым надо было скрываться из Москвы. Но недолго они поработали; обе вскоре были арестованы и в имениях было переворочено все вверх дном (обе судились вместе с моей матерью по процессу 193-х). Из Беломестного (Курской губ.) Завадская успела бежать до приезда жандармов, оставив матери кучу запрещенных книг, которые мать едва успела передать для скрытия одному бедняку-рабочему. Когда я из Швейцарии приехала в Беломестное, в августе 1874 г., в темную ночь под проливным дождем, принес мне книги этот рабочий. Я даю ему денег. Он оттолкнул мою руку и сказал: «Это делал я не за деньги!» Но я, сунув ему за рубашку четвертную, сказала: «Для матери!» и захлопнула дверь от терассы. Как ни допрашивали жандармы этого рабочего, как ни застращивали его сгноить в тюрьме и заковать в кандалы, — он ничего не показал и не выдал книг. А ведь был бедняк и на руках у него находилась старая мать!

Один конторщик, зять священника, показал, что наша мать вела образ жизни, не соответствующий ее положению богатой помещицы: вставала рано, говорила с рабочими, вела сама хозяйство. Больше никто против матери не показывал и, несмотря на это, в сентябре 1874 г. ее арестовали и отправили в Курскую тюрьму.

Большинство нашего кружка, приняв в кружок уже развитых рабочих, раз'ехались по фабрикам в разные города, где работая, как простые рабочие, вели пропаганду. Сестра Мария оставалась в Москве заведывать снабжением работающих деньгами, книгами и всем нужным. Конспиративной кварти-

рой заведывали Туманова и Гамкрелидзе. Сестра Надежда тоже ушла на работу. Я осталась в Москве на рабочей квартире с развитыми рабочими Смирновым, Бариновым и Павловым. Мы занялись вылавливанием на фабриках более способных и выдающихся рабочих. У меня были связи с 20 фабриками. С этими рабочими устраивали беседы в лесу или в трактирах. Дело мое шло довольно успешно. Приходили издалека слушать «умную женщину, которая все может об'яснить», но приходилось слышать и такие фразы: «Веди нас, мы разнесем фабрики!» «А есть ли у вас касса? Есть ли организация? — возражала я. — Ума большого не нужно, чтобы рушить, чтобы громить, а надо понимать, как создать лучшие условия жизни».

Хотела я организовать систематические занятия с более способными, выдержанными рабочими, но мой арест рушил все мои планы. Меня вызвали в Петербург, чтобы хлопотать о матери, которую в Петропавловской крепости засадили в самую ужасную камеру, где стены были обиты войлоком, куда не проникало ни света, ни звука. Когда я пришла к ней на свидание, она сказала: «Уйди, Женя, мне больно слушать и больно смотреть.»

Я отправилась к прокурору Желеховскому хлопотать о переводе матери в другое помещение. Прокурор сказал, что мать была переведена за проявление большой нервности. Не зная действительной причины перевода, я стала доказывать извинительность и естественность нервности при строгом и продолжительном одиночном заключении. Он ответил, что это не может служить оправданием. «Если нервничают, то мы сажаем в соответствующие камеры, если же и это не помогает, то мы вяжем в рубашки. Конечно, будь вы на месте вашей матери, мы отнеслись бы иначе — ведь вы еще так молоды!». Но все же мать была пере-

ведена... Потом я узнала, что эта кара постигла мать за то, что она на предложение жандармского генерала Новицкого выдать замуж сестру мою Надежду, которая приходила на свидание к матери, за его ад'ютанта, ответила, что она не может распоряжаться судьбою дочери. Новицкий обещал матери свободу в случае ее согласия, но не получив его, он покарал мать.

Суд вменил в вину матери воспитание детей, которое привело их на скамью подсудимых, а молодежь называла ее «матерью Гракхов». По суду она была оправдана (ее защищал Герард), потом административным порядком выслана в Вятскую губернию — зимою, в одном платье без теплых вещей, а позднее переведена к сестре моей Надежде в Каинск, куда, благодаря хлопотам, вытащили Надежду из Нарыма, а потом с нею же переехала в Томск. Но вот у Дебогорий-Мокриевича попался список адресов по тракту по всей Сибири для бегущих, рекомендации были подробные. Хотя список был зашифрован, но его расшифровали и сделали огромное множество арестов по всему тракту. Мать была в списке, так как в Томске она принимала деятельное участие в организации побегов ссыльных. Ее арестовали, два года продержали в тюрьме в Томске и административно выслали в город Минусинск, Енисейской губ., где она оставалась до своего возвращения в Россию.

Устроив мать, в августе 1875 г., я уехала в Москву. Со мной возвращался Михаил Овчинников, член нашего кружка, который вез с собою целую кипу революционных книг, а я везла в багаже, в деревянном сундучке, шрифт, который достал для нашего кружка Овчинников. Под'езжаем мы к номерам, где была наша конспиративная квартира. Был вечер и луна. Я выхожу из пролетки, в которой верх был поднят, и в которой остался Овчин-

ников с книгами, подхожу к доске, чтобы узнать № комнаты, и вдруг городовой: «Вас-то нам и нужно!». Нечего делать иду к пролетке, спотыкаясь якобы на подножку, спускаю незаметно, благодаря шлейфу платья, всю связку книг под пролетку, городовой вскакивает на подножку, с другой стороны другой городовой, на козлах третий. Едем в 3-е отделение. По дороге я закрываю лицо накидкой, достаю письмо на тончайшей бумаге, которое дали мне лавристы для передачи в Москву, с'едаю письмо и квитанцию от багажа. В 3-м отделении меня приводят к генералу Воейкову. Я прошу, чтобы мне позволили умыться и причесаться, так как после железнодорожной пыли я чувствую себя нехорошо. Я желала избегнуть насильственного обыска, которому, как я узнала потом, подвергались некоторые из арестованных. Меня отвели в другую комнату и пригласили женщину. Я сняла все и обувь и велела все вычистить и вытрясти, а косы велела переплести и перечесать, после этого я явилась на допрос. Воейков обратил внимание на отсутствие багажа, со мной была только подушка. «Ведь вы ехали хлопотать о матери, были у его превосходительства прокурора Желеховского, следовательно вам необходим был костюм». «Так как я ехала на короткое время и не хотела обременять себя вещами, то, как видите, надела хорошее платье». «А ключ откуда этот?»— «Вы видите, что это комодный ключ». — Меня увели и посадили в отдельную комнату. Так как это был первый арест, я страшно волновалась, боялась за багаж, выпила даже целый графин воды. Потом меня привели на допрос к жандармскому майору Щепотьеву. С молодым майором я пустила в ход всю свою светскость, несла турусы на колесах и допрос кончился тем, что он извинялся, что произошла такая ошибка и отпустил

меня. Я попросила, чтобы позволили жандарму отнести мою подушку в ближайшую шикарную Лоскутную гостиницу.

Раненько утром я отправилась в с. Волынское (около Воробьевых гор) к хорошим знакомым, рассказала, что я попалась, и просила выручить меня, дав мне костюм и шляпу. Переодевшись, вернулась в Москву, заняла номер в какой-то дешевой гостинице, поехала на вокзал и явилась за получкой вещей. — «Ваша квитанция?» — «Потеряна; вот ключ». — «Что лежит сверху?» — «Голубое платье».—Открыли, убедились, и я с вещами была в нанятом номере. Живо достала маленький чемоданчик, переложила шрифт и увезла его в Сокольники в лес, где и бросила, сама же отправилась опять в Волынское, переоделась в свое платье и в 12 ч. была в Лоскутной, где меня ожидали 2 жандарма, которые привели меня к Щепотьеву. На все его вопросы я ответила, что никаких показаний я не желаю давать. — «По глазам видно, что вы революционерка», — сказал он. Утром меня отправили в Басманную часть. Когда открыли камеру, дрожь пробежала по телу: все стены были покрыты зеленой слизью, двойная решетка и полутьма, матрац в пятнах, пол каменный и грязный. Задвинулся засов моего склепа и вдруг я слышу голос сестры Марии. Ужасная минута! Я бросаюсь к двери, зову жандарма, снимаю золотую брошь с бриллиантом и прошу передать записку сестре. Брошь он не взял, а записку обещал передать и велел приготовить. Меня скоро перевели в другую часть и с сестрою Марией я не встречалась до перевода нас в дом предварительного заключения.

В части, где сидела Мария, был бунт и ее за бунт перевели в Пугачевскую башню Бутырской тюрьмы. Условия жизни были там настолько ужасны,

что даже уголовные боялись попасть туда. Мария, доведенная до отчаяния, разбила лампу и хотела сжечь себя, но жандармы спасли ее и отправили в тюремную больницу.

Надежда за участие в бунте была отправлена в Северную башню Бутырок, которая тоже служила местом пытки. При выходе из камеры жандарм так хватил кулаком Надежду по голове, что гребенка разлетелась в куски, она закричала от боли; товарищи спросили о причине ее крика, но она не желая, чтобы товарищи устроили бунт и пострадали из-за нее, сказала, что она ушиблась о притолку.

В Городской части, куда перевели меня, камеры были терпимы, но я страдала от отсутствия теплой пищи — я питалась только колбасой и яйцами. Одно время со мной рядом сидела Анна Топоркова, которая была арестована в Иваново-Вознесенске. Был там хороший унтер Данилыч. Бывало видит, что я сижу грустная, отворит дверь и спрашивает: «Митривна, чего взгрустнулось? Может, записочку передать?» Напишешь, и он передает Топорковой или еще кому. Глядя на меня, он говорил: «Жалости подобное, такая молодая и загубляют». Но в Серпуховской части было плохо сидеть: стены каменные, толстые, камеры высокие, окно маленькое под потолком; чтобы попасть на окно, надо было на стол поставить табуретку и тогда только можно было увидеть небо. Сырость была ужасная, до моего прибытия там сидела Введенская (тоже по нашему процессу); ее камера была против камеры проституток, где по ночам происходили оргии.

Я скоро заболела дизентерией, и когда я уже потеряла силы и лежала в крови, пришел участковый врач и заявил: «Вам надо сейчас же в больницу, так как условия вашей камеры очень вред-

ны — сырость, отсутствие света, клопы». В больнице мне дали камеру длинную, низкую с двумя решетками и следовательно полутемную и до такой степени жаркую, что ходила я в больничной рубахе и юбке, обливаясь потом. В этом же коридоре была камера сумасшедшей, которая кричала день и ночь. После года полуголодного существования здесь я вервые получила теплую пищу. Когда меня привезли в больницу, то начальница больницы запретила сестре милосердия, монахине, разговаривать со мною, как с важной государственной преступницей, но монахиня ответила: «Для меня она не преступница, а страдалица. Я призвана не судить, а помогать». Такое высокое понятие долга имела простая, малообразованная крестьянка.

В больнице провела я несколько месяцев. Параска — сиделка и матушка Марфуша были моими друзьями. Вскоре и дочка начальницы стала заглядывать ко мне. В. Фигнер и А. Таксис предлагали освободить меня, был готов рысак. Параска и матушка соглашались вывести меня под условием, чтобы я взяла и их с собой, но так как их условие было невыполнимо, а надуть их я не хотела, то я отказалась от побега.

Наконец, после всех мытарств по частям, меня отправили в Петербург, в Дом Предварительного Заключения, где я встретилась с матерью и с сестрами. Мать была очень бодра, несмотря на трехлетнее заключение (она провела в Петропавловской крепости 2 года) и первым ее вопросом при встрече было, — не потеряла ли я веру? Бедная Мария пострадала более всех, — у нее появились признаки горловой чахотки. Я приехала с таким катарром желудка, что не могла ничего есть — после принятой пищи у меня делалась рвота.

Процесс 50-ти, который был в 1877 г., произвел громадное впечатление. Никто не старался выго-

родить себя, запутывая другого, только один Ковалев оговаривал; остальные старались выгородить друг друга. Честность, убежденность, молодость и красота многих из судившихся женщин не могли остаться без влияния, особенно на молодежь.

Когда нас после суда перевезли в Литовский замок (пересыльная тюрьма), нам выдали полосатый холст (синий с белым), чтобы мы сшили себе арестантское платье, и коленкору на косынки. Мы сделали фасонистые, по фигуре платья, на головы чепчики и на плечи косынки и в таком наряде, по приглашению начальницы женского отделения мы явились к ней на шеколад. Потом пошли всякие посещения — княгини, графини, высочества и публика — у нас был салон. Осенью 1877 г. всех отправили по местам; остались: Анна Топоркова и Геся Гельфман, осужденные в рабочий дом, но благодаря гуманности начальницы они были оставлены вместе с остальными заключенными женщинами. Я была оставлена на поправку от сильного катарра до следующего лета, и Медведева (по нашему процессу) тоже по болезни.

Сестра Мария была отправлена по хлопотам в Новоузенск, Самарской губ., вместо Сибири, так как у нее началась горловая чахотка. На месте ссылки она была первая политическая преступница и потому считали ее попавшею в опалу фрейлиной и, не будучи в состоянии понять причины ссылки молодой, состоятельной, интеллигентной девушки, сочиняли массу легенд. А Маня надеялась поправиться, мечтала об агрономической академии и о приложении своих знаний на благо народа! Но надеждам ее не суждено было осуществиться — она умерла зимой 1878 г.

Вера Шатилова после своего оправдания (по проц. 193-х) поставила памятник на могиле Мани,

Надежда в 1877 г. осенью была отправлена вместе с остальными в Сибирь. Вера Любатович писала мне в Литовский замок, что народ считает их провинившимися сестрами милосердия. Большинство женщин было оставлено в Тобольской г. в южной части. Только Лидия Фигнер была отправлена в Иркутск, Варвара Александрова — в Верхоленск, а сестра Надежда — в Томск, где губернатор должен был назначить ей место ссылки. Губернатор приехал в тюрьму с дамами показать редкого зверька. Надежда едко с'иронизировала над этими смотринами и за это была выслана в Нарым в одном пледе при страшных морозах.

Мать мою и В. Шатилову (воспитанница) судили в начале 1878 г. Она и Шатилова были оправданы (Шатилова была арестована на короткое время перед судом), но радость освобождения была отравлена известием о смерти Марии и о тяжелом положении в ссылке Надежды. Узнав о таком горе моей матери, защитник наш по процессу 50-ти Бардовский стал уговаривать мать подать прошение на высочайшее имя, обещая полную свободу всему семейству. К Бардовскому присоединился доктор тюремной больницы, который относился ко мне особенно хорошо. Мать ходила ко мне на свидание и рассказывая в слезах о настоятельном предложении, которое ей делали, сказала: «этого сделать не могу!». Я горячо поблагодарила ее и заявила, что мы не приняли бы помилования. Что должна была вынести бедная мать! Ведь нет той жертвы, которую не принесла бы мать для своего ребенка! Но мать выдержала испытание.

Летом 1878 г. я и Медведева были высланы в Сибирь с партией осужденных по процессу 193-х. Мы долго сидели в Тюмени, куда нас доставили в арестантской барже. Из Тюмени нас повезли на тройках в сопровождении жандармов. Мы ехали

по Барабинской степи. Вдруг встреча, восклицание: «Женичка!». У меня в кибитке Степан Зубок-Мокиевский, жених сестры Надежды, к которой он ездил на свидание и от которой возвращался в Россию. Он судился по процессу 193-х, сидел в Петропавловской крепости и был оправдан. Мы доехали до станции. Жандармский капитан Лесник, сопровождавший нашу партию, было запротестовал, но Степан уломал его позволить нам поговорить пока перепрягают лошадей.

Я была отправлена в селение Тунку на юг Иркутской губернии. Когда меня привезли в волостное правление, помещавшееся в бывшем доме декабриста кн. Волконского, и я увидела себя окруженною страшными бурятскими лицами, я спросила, нет ли кого из недавно прибывших ссыльных. Мне сказали, что здесь Александр Лукашевич (по процессу 50-ти). Я несказанно обрадовалась и, несмотря на обещания властей дать мне хорошее помещение, потребовала, чтобы меня везли к Лукашевичу. Конечно, встреча была радостная. Он занимал очень маленькую избу — одна комнатка, а за перегородкою печь и спаленка. Во дворе у него была маленькая слесарная, — двор был обширный, но кроме этой избушки и слесарни, не было никаких построек и следовательно никаких жильцов, кроме нас. Я приехала незадолго до рождества. Я поселилась за перегородкой и начала учиться варить и печь. Подготовленное декабристами купечество отнеслось ко мне очень сочувственно и так как я была первой женщиной, к тому же молодой, попавшей в их края, то, конечно, заинтересовала всех. Ко мне приехал даже познакомиться родственник иркутского губернатора. Купечество бывало у меня, я тоже бывала у них и была даже на одной вечеринке. Так как я приехала в одном платье (у меня все было ото-

брано в Петербурге) и я по неопытности не сообразила, как мне себя обмундировать, я порезала прекрасный коричневый плед, который дал мне Зубок-Мокиевский при встрече, сделала себе костюм и являлась в нем в гости.

Хотя ко мне относились хорошо, но я все время жила только одной мыслью вернуться в Россию и опять взяться за работу.

Как-то в 1879 г. пришел к Лукашевичу черкес, кучер родственника губернатора. Мы приняли его хорошо; оказалось, что он один без барина, едет в Иркутск. Я попросила его взять меня. Он согласился. Лукашевич достал костюм мальчика у знакомой обывательницы. Переодевшись и обрезав волосы, я отправилась с ним в Иркутск. По дороге я трусила, потому что встречные постоянно спрашивали: «Кого везешь?» Раз на станции чуть не вышел скандал. Один суб'ект что-то сказал на мой счет. Черкес схватился за кинжал. Едва я умиротворила его. Благополучно прибыли в губернаторский дом; на кухне указали мне, где я могу переодеться в свое платье и я вышла, не обратив ничьего внимания. Но в Иркутске не было хорошего места для скрыванья и дальше двигаться я не могла. Я явилась по начальству, об'яснив, что я уехала из Тунки, боясь дебошей Цыганкова, известного скандалиста. Я просидела месяц или два в тюрьме, а потом была отправлена в Верхоленск, где встретилась с Варварой Александровной, Гамкрелидзе и Злобиным (все по процессу 50-ти). Они жили на одной квартире. Я поселилась отдельно, но ежедневно виделась с ними. Мысль о побеге не покидала меня и в Верхоленске, но теперь мы хотели бежать вчетвером. Трудность побега заключалась, главным образом, в том, что в поимке бежавших принимали участие не только власти, но и крестьяне, желая получить вознаграждение.

Вскоре появился к нам уголовный, проштрафившийся юнкер или офицер поляк Орловский. Разговорились с ним, оказалось, что он хорошо ознакомился, по его словам, с этой местностью. Мы решились попытать счастье и через него достать лошадей и сани, дали ему 200 рублей. Он обещал закупить все необходимое и исследовать путь, по которому лучше уезжать. Прошло сколько-то времени, Орловский возвращается, прекрасно одетый, но ничего для нас не закупив. Что-то наплел в свое оправдание; пришлось молчать, но молчание не спасло нас. Испробовав легкую наживу, он взялся за меня. Получаю громадное послание на нескольких листах, начинавшееся: «Обуреваемый внутренней крамолой» и т. д. в этом роде все послание. Товарищи умирали со смеху, читая это художественное произведение. Я попросила его оставить меня в покое. Тогда он начал доносы. Один из доносов гласил, что мы приготовляем «пьетарды» и думаем взорвать Казанский собор. Несмотря на нелепость таких доносов, являлись из Иркутска жандармы, делали тщательный обыск и, конечно, безрезультатно.

До моего приезда и в начале моего пребывания в Верхоленске был там еще один уголовный, Колосов, с университетским образованием, говоривший на иностранных языках, элегантный, светский, обуреваемый манией доносов и деланием мерзостей. Во всех учреждениях, где он служил, кончалось доносом или какой-нибудь гадостью. Наконец его упрятали в такую дыру, как Верхоленск. За отказ Александровой познакомиться с ним, он подговорил одну женщину пустить в Александрову камнем и делал еще какие-то гадости. Против меня он хотел наускать мою хозяйку. Наши узнали об этом и я перешла на другую квартиру.

Доносами он насолил начальству и его убрали куда-то дальше.

Был там еще один политический ссыльный, Рабинович, по процессу 193-х, выдавший очень многих. Слабость характера, желание жить — заставляли его писать начальству. «Я жить хочу, я покажу все, что знаю», а потом — раскаяние и «да отсохнет рука, написавшая сие показание». В Верхоленске он был уже не вполне нормальным, и его вскоре увезли, кажется в Россию. Он был циничен и нагл. Александрова по мягкости душевной, жалела его и принимала, а я не выносила его.

Кроме вышеупомянутых ссыльных, был там еще один, лейб-гвардеец ветеран политический — Григорьев, осужденный еще в 1862 г. за пропаганду среди солдат. Томился он и в Якутской области, и в Баргузине, и по другим трущобам. Мяла, трепала, толкла нещадно его судьба, но честности и благородства не выбила. Душевно мне было жаль его и, глядя на него, одна мысль преследовала меня: бежать, скорее бежать.

Обыватели в Верхоленске были совершенно невежественны: три купеческие семьи, о культурности которых можно судить по следующему выражению. «Резонт через средствие в политику не принимается» и такими выражениями уснащалась речь.

Какая была причина, не помню, но через год меня с Александровой перевели в Иркутск. Мы поселились вместе, завели знакомства и стали обдумывать устройство побега. Получаем письмо из Баргузина от Е. К. Брешковской; она пишет о тяжелых условиях жизни и просит помочь бежать ей, Тютчеву и Шамарину. Мы решаем, что наш долг отложить наш побег и заняться баргузинцами. Пришлось послать человека, который доставил бы им четыре лошади, проводника и все необходимое. Че-

рез тайгу, кручи и пропасти прошли они благополучно до границы Монголии, где наткнулись на крестьян, которые изловили их и представили по начальству.

Отправив Брешковскую, я с Александровой взялись за устройство своего побега. Когда все было готово и мы без риска могли отправиться в путь, получаем письмо из тюрьмы от Ковальской [1]) и Богомолец с просьбой помочь их побегу. Не без грусти, надо сознаться, по чувству долга откладываем мы свой побег и беремся за устройство побега каторжанок. Их надо было встретить у тюрьмы и привезти в убежище. Для каждой было отдельное убежище. Все было сделано прекрасно, чтоб замести всякий след, я с Александровой поместились на разных квартирах. Но каторжанки были арестованы, все помогавшие тоже, а меня с Александровой выслали опять в Верхоленск, хотя у нас ничего не было найдено и не было никаких указаний на наше участие в побеге. Для меня это была роковая неудача, перевернувшая всю мою жинзь. В Верхоленске тоже пришлось отдать деньги на побег каторжан из Иркутской тюрьмы (1882 г.). Все они были арестованы в пути. Волошенко был арестован в Тунке, где он скрывался у Лукашевича. За укрывательство каторжника Лукашевич-поселенец был отправлен на Кару.

После этого мы прекращаем все наши попытки и оставшиеся у меня деньги я передала В. Фигнер. Я вернулась из ссылки в 90-х годах, сестра и мать приблизительно в то же время. Мать до глубокой старости сохранила светлый разум, энергию и подвижность. В 1916 г., 86-ти лет, она одна приехала из России в г. Алексеевск (Амурской области), что-

---

[1]) Е. Н. Ковальская с просьбой о помощи ни к кому не обращалась. *Ред.*

бы повидать мою дочь, которую она очень любила и на образование характера и взглядов которой она имела большое влияние. В первое же лето мать захворала гастритом, кое-как перезимовала, и, по совету доктора, ее, уже ослабевшую, мне пришлось везти в Россию. В апреле 1917 г. я привезла ее в г. Орел, где она прожила до своей смерти. Она скончалась 15 февраля 1919 г. на 89-м году. Она умерла от слабости, так как питание было плохое, но до последнего момента она сохранила ясную мысль.

---

**Цена 15 коп.**




СКЛАД ИЗДАНИЯ:

1) Правление и склад Издательства Политкаторжан Москва-34, Лопухинский переулок, 5. Тел. 3-64-73.

2) Магазин „Маяк“ Издательства Политкаторжан Москва-Центр, Петровка, 7. Тел. 3-63-20 и 4-18-12